Внеклассное мероприятие.

 Сценарная разработка литературной композиции «Моя Марина Цветаева».

Цели:

 **Обучающая**: сформировать представление о творческой атмосфере начала 20 в.; знакомство с биографией и творчеством Марины Цветаевой

**Развивающая**: развитие образного мышления учащихся, формирование поэтического чутья, культуры чтения. Развитие личностно – смыслового отношения к изучаемому материалу, стремления к  самовыражению через творческую деятельность, развитие навыков «слушания».

**Воспитывающая**: воспитание любви к литературе отечества,  гордости за высокую духовную и нравственную силу русской поэзии серебряного века.

Мероприятие ориентировано на учащихся старших классов школы или студентов техникумов и колледжей.

Сцена или учебная аудитория оформляется в стиле начала 20 века.

Повествование ведётся от лица поэтессы. Три ученицы, сменяя друг друга в зависимости от смены возраста Цветаевой, ведут эту роль. Со стихами выступают другие учащиеся, как бы иллюстрируя слова Марины Цветаевой.

В разные моменты композиции главная героиня может писать письмо, смотреть в окно или напрямую обращаться к зрителю и т.д.

  **Ход мероприятия.**

***1. Красною кистью –*** Читает главная героиня и далее по тексту её слова.

Итак, дамы и господа. Сегодня мы затронем поистине глубокую тему. И, думаю, многие из Вас очень легко воспримут мою первую метафору, что жизнь – это фотоальбом, который может быть толщиной с паспорт, а может быть до отказа набит самыми разнообразными снимками. У кого-то он только начинает заполняться, а у кого-то давно уже забит до корочки и поставлен на полку, и даже не один.

 Мой сегодняшний фотоальбом, несомненно, наполнен разными фотоснимками до отказа. И мои наиболее дотошные биографы до сих пор продолжают находить для него всё новые и новые факты и кадры. И если пришло время вновь пролистать его, то начать мне хотелось бы вот с этого раритетного чёрно-белого снимка. Итак, вот он, этот пышно цветущий июнь, полдень выходного дня, бульвар, заметённым тополиным пухом, кое-кто бросает в сбившиеся кучки пуха зажженные спички, и они вспыхивают фиолетовыми языками, которые расползаются в разные стороны и гаснут, как только съедать больше нечего, ну Вы знаете. Нет, всё - таки этот город всегда узнаваем, будь это хоть наши дни, хоть девяностые позапрошлого столетия. И вот она, мирно гуляющая супружеская пара, он – солидного вида человек, кстати, университетский профессор. Она – болезненного вида молодая женщина с длинными тонкими пальцами, пианистка, ученица самого Артура Рубинштейна. Я сижу у папы на руках.

 Моё внимание принадлежит абсолютно всему, как Вы видите. Этому бульвару, нашему московскому дому с его зеркалами и портретами, папиным глазам, которые становятся невероятно огромными, когда он надевает очки, моей восторженно-любимой маме, читающей по вечерам такие красочно-живописные сказки.

 И вот Я уже гимназистка, неизлечимо страстно влюблённая в одного русского поэта. Меня влечёт небывалой силы юношеское вдохновение, делающее из моей жизни сплошной безостановочный карнавал творчества, Я всё время что-то пишу, забывая даже о еде, о сне, иногда вскакиваю ночью, чтобы записать какую-то удачную строчку, пришедшую в тишине уснувшего дома. И вот мне уже 15 и, вернувшись домой из гимназии, Я вдруг сталкиваюсь в дверях с доктором, от которого веет каким-то странным потусторонним холодком. Мне бросается в глаза наш рояль в гостиной, клавиши которого забрызганы кровью. Что это? Из комнаты матери слышится заходящийся надрывный кашель. « - Чахотка. Извините…» - произносит доктор и поспешно идёт к выходу. Маму не спасает уже ни помощь заграничных врачей, ни горный воздух Швейцарии, ни мягкий климат Италии и Германии. И, поняв, наконец, что болезнь жены входит в последнюю стадию, отец везет нас обратно в Россию. Мы на кладбище, гроб с телом матери опускают в землю. После смерти мамы папа сильно сдаст, замкнётся в себе. У меня же стремительно начнёт ухудшаться зрение, мир перед глазами как огромная глыба льда начнёт потихоньку оползать, предлагая моему взору размытую, как нарисованную акварелью на мокром листе бумаги реальность. Надевать очки Я категорически откажусь и прежде всего потому, что они не соответствуют моему внутреннему ощущению себя поэта. И вот, как все Вы уже прекрасно чувствуете, электричество драматизма уже заполняет дистанцию между мной и Вашими ушами, замыкая её в подобии молнии, верно? И крайне интересно посмотреть, как оно разрядится, верно?

***1. Бабушке …***

***2. Хочу у зеркала, где муть***

***3. Вот опять окно, …***

Мне уже 16, и со скучающим видом заплетая свои катастрофически стройные ноги в косичку, я уже слушаю на французском курс истории литературы в Сорбонне. Москва же, тем временем, уже листает мой первый сборник стихов, внимание критиков привлекает зрелость стихотворной речи, точность и выразительность поэтических образов, о юном возрасте автора никто из читателей пока даже не подозревает. Но волна, как Вы видите, приближается всё ближе и ближе я, несомненно, главная героиня, восторженно жонглирующая головокружительными романами, полными сказочно-фееричных подробностей. И вот, стоит только какому-нибудь молодому человеку обратить на меня внимание, как тут же активизируется моё ненасытное воображение, в истерично-болезненной среде, которого Я в одно мгновение начинаю делать из юноши как минимум героя или рыцаря и, естественно, тут же влюбляюсь неуёмно-буйной любовью, обрушивая на него самую настоящую лавину чувств и рифм. В его честь начинают звучать очищающие воздух до чистого кислорода симфонии. Я выхожу замуж за человека удивительного талантливого и необыкновенного – Сергея Эфрона.

1. ***Я тебя отвоюю…***
2. ***Какой-нибудь предок мой был…***

 Итак, дамы и господа. Сегодня Я молодая женщина, стопроцентный поэт, чувства которой – катализатор для стихов и прозы, за которой в общественном сознании уже утверждается мнение, что Я легко изменяю своему мужу. Он же, будучи человеком крайне терпеливым, прекрасно понимает, как моей экзальтированно-поэтической натуре необходимы все эти творческие вечера и встречи, что Я живу впечатлениями особого сорта, и он молчит. Молчит, даже тогда, когда меня провожают до дома всё новые и новые кавалеры, и даже тогда, когда я сближаюсь с самой что ни на есть настоящей богемной ведьмой – поэтессой Софьей Парнок. Но издалека уже доносятся первые раскаты Первой Мировой, муж уходит добровольцем на фронт, Я неожиданно осознаю, как сильно его люблю. Но, как это обычно и бывает, к этому моменту уже окончательно его теряю. По России, тем временем, размахивая шашкой, уже несётся на взбесившейся лошади, великий и ужасный Красный Октябрь. Мне исполняется 25, Я ежедневно просыпаюсь в холодной Москве в полном неведении того, что будет дальше. Ежедневно на меня смотрят две пары голодных детских глаз. Большинство поэтов этого времени всем сердцем слушают дыхание революции и, естественно, горланят дифирамбы возводящемуся на глазах промышленному Инферно. Я же категорически не могу принять идею всех и вся уравнивающей справедливости и упорно, даже с некоторым вызовом противопоставляю себя безумию действительности. И вот она, дорогие мои, грандиозная когорта моих персонажей: Мария Мнишек, Дон Жуан, Юные генералы 812 года, Стенька Разин, сгубивший княжну-персиянку, а с ней и свою пылающую душу. И всё это Я, но в разных воплощениях, дарованных мне моим поистине безграничным воображением. Но стоп-стоп, сделаем паузу, дорогие мои, надо глотнуть воздуха, а то волна жизни уже не отпустит нас на поверхность.

***1. Генералам 12 года …***

***2. Молодую рощу шумную…***

***3.Мне нравится…***

 Итак, дамы и господа. Вот, вокруг меня уже всё перевёрнуто вверх ногами. Все прошлые ценности – дурной тон. Я практически в полной изоляции, живу в кругу немногих близких людей, ценящих и понимающих мои стихи, чураюсь общества московских поэтов и чрезвычайно редко выступаю с чтением своих стихов.

 Вот оно, 11 декабря 920 года. Политехнический музей. Валерий Брюсов устраивает вечер поэтесс, на котором, выглядывая из-за голов девяти участниц, в общем-то, не оставивших в поэзии ни следа, ни имени, можно видеть и меня. Я, как Вы можете разглядеть, нарочно облачена в серое мешковатое платье, похожее на монашеское одеяние, перепоясанное широким кожаным ремнём, военная сумка через плечо, коротко остриженные волосы. Мой вид вызывает насмешки у манерных представительниц богемного стихотворства. Я выхожу на сцену, в валенках, всем своим видом и манерой выказывающая нескрываемое презрение к заполнившей зал и жаждущей литературных скандалов публике. И вот я читаю свои стихи. Сначала тихо, в полголоса, постепенно выдержанными всполохами взрывая свой слегка сипловатый от недавней простуды голос и постепенно разбрызгивая свои удилища с крючками на концах во все стороны и подцепляя, и выдёргивая на поверхность золотых рыбок подлинных людских эмоций:

«*Поэт - издалека заводит речь*

*Поэта - далеко заводит речь.*

*Планетами, приметами… окольных*

*Притч рытвинами… Между «Да» и «Нет»*

*Он, даже разлетевшись с колокольни,*

*Крюк выморочит… Ибо путь комет –*

*Поэтов путь: жжа, а не согревая,*

*рвя, а не взращивая - взрыв и взлом, –*

*Твоя стезя, гривастая кривая,*

*Не предугадана календарём!»*

Первоначальные усмешки переходят в затаённое молчание. И в итоге в шумную овацию. Сейчас весь зал стоит, отчётливо сознавая, что присутствуют при историческом событии, что со сцены звучит голос настоящего поэта. Голос - вызов времени, голос - пулемёт, прошивающий всё это литературно-пошлое окружение. В Ваше время кое-кто из моих биографов объясняет мою поэтическую агрессию особыми свойствами моего характера, трудного, нервного, неуступчивого. И вот я продолжаю жизнь в литературе и только для неё, пишу много и вычурно яростно. Некоторые мои стихи даже приходятся ко двору нового века – две поэмы с большими цензурными купюрами одобрены и разрешены к печати. Какая «щедрость» министерства культуры! Но это одна сторона монеты, так называемый аверс. Реверсом же являются тетради нескончаемых писем уже навсегда потерянному мужу, которые я не знаю, куда отправить, но которые пишу так же регулярно, как и стихи. «Если Бог оставит Вас в живых, Я буду ходить за Вами как собака. Если Вас нет в живых, Я всё равно не смогу жить», зачем длить муку, если можно не мучиться, верно? И вот неожиданный проблеск света – весть о том, что Сергей находится в Праге среди белой эмиграции. Я отчаянно добиваюсь разрешения на выезд из страны, забираю из кунцевского приюта свою, теперь уже единственную дочь, выжившую в те промозглые годы. И вот за окном поезда уже мелькают картинки кукольной Европы. Как видите, дамы и господа, начинается настоящее шоу, да-да, то самое, что за фасадом вымученных гримас и беспардонного фиглярства.

***1. Уж сколько их упало в эту бездну, …***

***2. «В Москве купола горят»***

 Вот она, русская эмиграция, поначалу встретившая меня как единомышленницу и которая, на нюх чувствуя чужака, уже резко меняет своё ко мне отношение. У меня, как выясняется, совершенно иные ценности, критерии и масштабы.

 Эмиграция считает, что мои стихи – это непозволительно-кричащие ритмы, а истеричность и надлом просто невыносимы. В ответ Я ещё более усугубляю положение, наваливаясь на критиков всем весом своего непомерно-болезненного таланта, нарочито отказываюсь от тихих, льющихся-елейных стихов, буквально телеграфирую рифмованными строчками враждебной среде всё, что Я о ней думаю. За это эмигрантская пресса, естественно, объявляет меня вне своих законов, изымает мои стихи практически из всех изданий. Мой читатель, как я всё больше и больше начинаю сознавать, остался на родине, в России, куда мои стихи не долетают. Но муза моя, мучимая приступами несносной ностальгии по прежнему не покидает меня, живёт впроголодь, в полном тяжких лишений житейском быту. И вот очередная, каких много, запись в дневнике: «Мне в современности и в будущем нет места. Эпоха не столько против меня, сколько Я против неё. Я её ненавижу, она меня ненавидит. Пишу не для «здесь», здесь не поймут из-за голоса, а именно для «там», языком равных. Не знаю, буду ли когда-нибудь ещё в Росси, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов не дам».

***1. «Я помню ночь на склоне ноября»***

***2. «Так рано»***

***3. Родина***

 Вот она, эта французская газета 37 года, глядя в которую, Я снова и снова перечитываю одну и ту же колонку, где говорится о мастерски организованном убийстве советского резидента в Лазанье. Организатором убийства объявлен русский эмигрант и тайный агент НКВД – мой муж… Ещё большее потрясение Я испытываю, услышав от него, что это - правда. И что ему требуется срочное убежище, и что предоставить это убежище может только Советский Союз.

 Надеюсь, Вы уже чувствуете аромат родины, где уже через два месяца после возвращения арестована моя дочь, а следом и Сергей. И где никто не решается заговорить с женой врага народа. Жить негде. С огромным трудом Я снимаю крысиный угол, Москва категорически меня не принимает, хотя заслуги перед ней моей семьи поистине безмерны: отец создал музей изящных искусств, три огромные фамильные библиотеки Румянцевскому музею (будущей Ленинке), а сколько подлинных поэтических шедевров созданы мной в её честь? Полные отчаяния письма-жалобы, письма-мольбы разосланы мной в союз писателей, в правительство и даже на самый-самый верх, лично в руки: «Умоляю, помогите!» Ответа нет. От мужа и дочери никаких вестей и кажется, их давно уже нет в живых. И вот Я уже тотально убеждена, что дальше будет только хуже, но в сумрачную келью моей пожухлой и уже свернувшейся трубочку жизни как луч скупого осеннего солнца вдруг проливается восторженное внимание одного молодого московского поэта. И вот о дальнейшем уже можно сказать" булгаковскими" словами: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и сразу поразила нас обоих, как поражает финский нож». Казалось, что именно любви-то и не осталось места в моей теперешней жизни, но вот Я, как девочка, уже снова влюблена и с той же безудержной увлечённостью романтизмом, как и много лет назад. Снова встречи и долгие прогулки по Москве и, конечно же, стихи, стихи, стихи, которые мы взахлёб читаем друг другу. Но вот на Покровском бульваре из открытого окна Я узнаю о начале войны. Пастернак провожает меня в эвакуацию, снабдив верёвкой для чемодана, совершенно при этом, не подозревая, ЧЕМ он перевязывает мой багаж. Он, как, впрочем, и никто, не видит, не знает, что Я уже год примеряю смерть на свою шею как ожерелье, мой предел ДОСТИГНУТ *….*

*С большою нежностью — потому,
Что скоро уйду от всех -
Я все раздумываю, кому
Достанется волчий мех,*

*Кому — разнеживающий плед
И тонкая трость с борзой,
Кому — серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой…*

*И все́ — записки, и все́ — цветы,
Которых хранить — невмочь…
Последняя рифма моя — и ты,
Последняя моя ночь!*